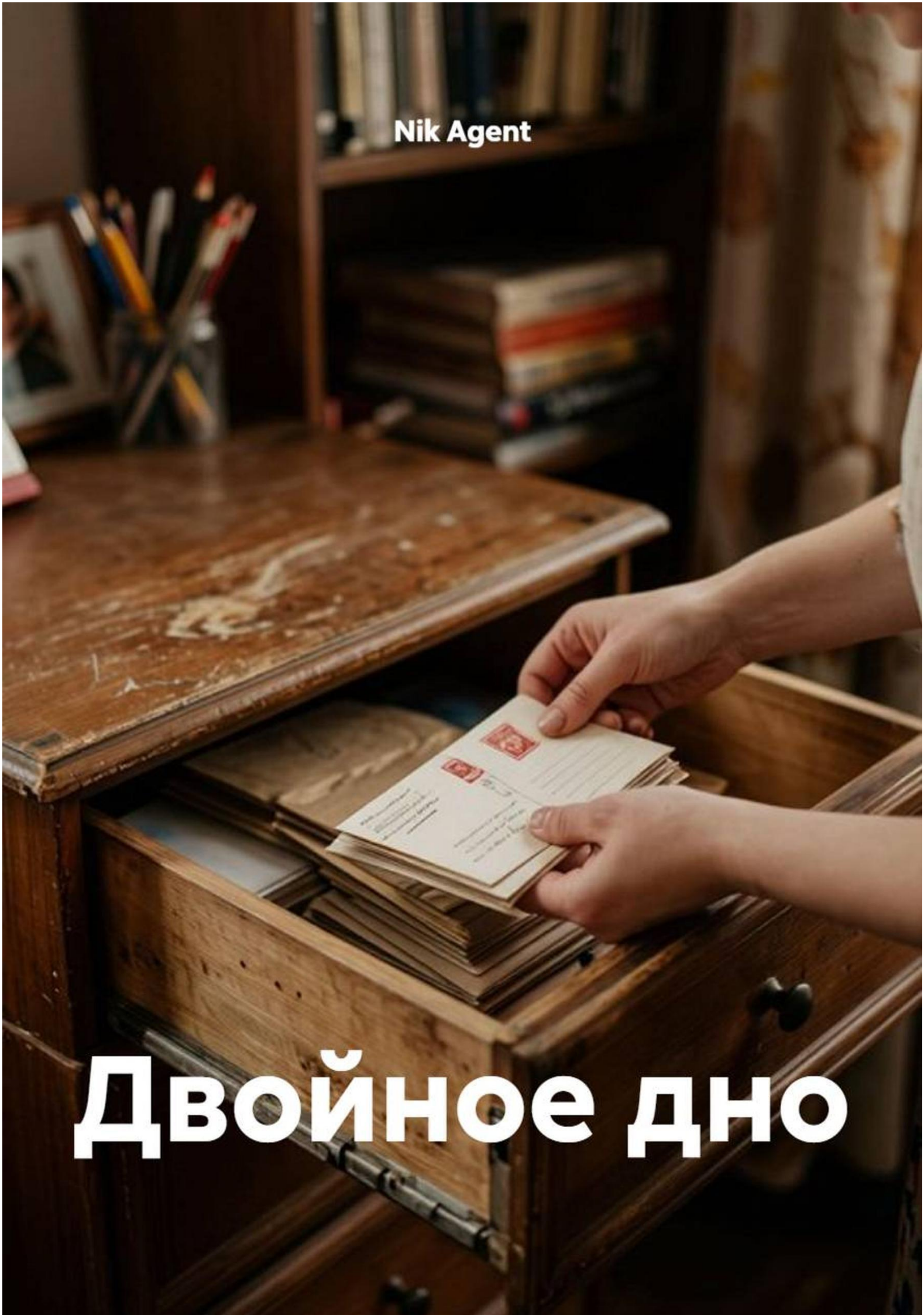


Nik Agent

Двойное дно

Nik Agent

Двойное дно

«Автор»
2026

Agent N.

Двойное дно / N. Agent — «Автор», 2026

Уютный детектив о вещах, которые помнят больше людей. Реставратор Марта Ремизова возвращается после развода в родной Приволжск и открывает мастерскую в бабушкином доме. Первый же заказ оборачивается находкой: в двойном дне старого комода лежат восемь неотправленных писем 1984 года — и адрес, который Марта знает наизусть. Это её двор, её баня у забора, её тополь.Через неделю заказчик комода находят у старой пристани. Река, темный берег, несчастный случай — город умеет закрывать такие дела. Но письма остаются у Марты, и каждое из них просит одного: досчитать до конца. След ведёт к справке, которую никто не должен был увидеть, к кассе жилкооператива, сорок лет плативший за молчание, и к человеку, который и тогда стоял рядом, и сейчас стоит — прямо, спокойно, с приёмным листом в руках.Тихий, точный детектив о старом дворе, где всё под номером, и о женщине, которая умеет вскрыть двойное дно без скола. 16+, без крови и жести.

© Agent N., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 6
Глава 1. Заказ 8
Глава 2. Только комод 12
Глава 3. Река 15
Глава 4. Племянница 19
Конец ознакомительного фрагмента. 20

Nik Agent
Двойное дно

Двойное дно

Автор: nikagent

© nikagent, 2026

Все права защищены. Копирование, воспроизведение и распространение текста или его частей без письменного разрешения автора запрещены.

Все персонажи и события в этой книге вымышлены. Город Приволжск не существует, совпадения с реальными людьми, организациями и населёнными пунктами случайны.

Психологический детектив. Возрастная категория: 16+

Пролог

Июль 1984 года ничем не отличался от прежних: днём жара, ночью река. Заводской гудок отмерил полночь и умолк — звук он тянул долго, а бросил где-то над водой. Город остывал по частям: сначала цех, потом дворы, потом окна. За прядильным корпусом, на бугре над рекой, горел единственный фонарь — лампа на столбе у тропинки. К столбу она и вышла, миновав мостки, где рядами лежали на боку перевёрнутые лодки, сухие днища кверху.

Ей было двадцать два, из них два года — у прядильной машины. Руки работали сами: съём, заправка, початок — пальцы знали порядок лучше, чем она умела его объяснить. Смена ещё сидела в спине ровным гулом, тише станка, но сидела. Она села на доски у столба, раскрыла папку и разложила на коленях два листа: черновик — исписанный, поправленный — и чистый, в клетку.

Письмо она переписывала начисто, в четвёртый раз. Черновики не жгла: заметает след тот, кто боится своих слов, а своих слов она не боялась. Рука вела строку так же, как ведёт на производстве: без помарок, ровно, к сроку. Торопиться было нужно — пока луна стоит над лесом, пока у соседей не смолк магнитофон, — но торопливость она гнала из пальцев. Аккуратность — не красота, а дисциплина. Кривую строку возвращают на переделку; с письмом так не выйдет, второй попытки у письма не будет.

В письме не было ничего громкого: «довожу до вашего сведения», числа, даты, просьба проверить. Слова ровные, как строки журнала смены. Но за каждым числом стояло своё: неделя у окна склада, лента, что уходит со склада шире, чем приходит в журнал, и тишина, которой отвечают на вопрос, заданный по форме и письменно.

Она не была бухгалтером, но счёт жил у неё в руках, как пряжа: сколько выпущено, сколько сдано, сколько осело. Числа в ведомости сходились слишком гладко — так сходятся, когда их сводят вдвоём и не для отчёта. Ткань уходила мимо кассы, и это видно всякому, кто захочет увидеть; не хотели многие и долго. Копию она сняла сама, через синюю копирку, и с той недели лист жил при ней — тихий, синий, как заноза.

Письмо шло наверх, в обком. Ниже пробовать приходилось: заявление лежало в заводской канцелярии второй месяц и не двигалось, как шкаф. Значит, мимо шкафа — конверт, марка, индекс, почта. Марку она купила вечером, у окошка, где не знают в лицо. Так доходит то, чему не положено доходить.

Через реку, от старых домов, тянуло магнитофоном: та же запись, что вчера и позавчера, — она кончалась, её заводили сначала, и так, видно, до утра. Во дворах на верёвках висело бельё; простыни стояли белыми прямоугольниками и не шевелились — ветра не было. Над берегом смешивались гарь цеха и речной холод, и у каждого было своё место: гарь — выше, холод — ниже.

Комары стояли над водой ровным столбом; в круге света их было плотнее. Она прихлопнула по щиколотке, не поднимая глаз. Река лежала неподвижно и держала в себе отражения по-хозяйски: фонарь, столб, берег. Отражение фонаря было вторым фонарём — только горящим вниз.

Страх у неё был — под ложечкой, размером с пуговицу от рабочего халата. Прогонять его она не пыталась: пусть сидит, пуговица пуговицей. Важно было другое: она всё посчитала. Счёт сходился на бумаге, а бумага была при ней. Когда посчитано, назад ходить неудобно — числа не разворачиваются.

Последнюю строку она вывела и положила ручку на колено. Письмо прочла вслух — без голоса, одними губами, как читают в цехе, где работает станок. Сверила с черновиком, как сверяют съём: сначала глазами, потом руками. Порядок. Чистый лист подсох. Черновики легли вниз, под чистый.

Письмо, копию и черновики она сложила одной стопкой и убрала в целлофановый пакет. Пакет вздохнул и закрылся по сгибу. Она опустила его в сумку, под полотенце, и подвела молнию до конца — тихо, чтобы не звенело. Сумка отяжелела на один лист. Нести её было легко.

На дорожке за её спиной остановился шаг. Не подошёл и не ушёл — просто стал, как становится человек, который передумал идти дальше и ещё не решил, что вместо этого. Тень от столба легла на воду — длинная, через всю заводь, до камышей. Она не обернулась. Она смотрела на отражение фонаря: оно стояло на чёрной воде ровно, и ей нужно было, чтобы ровно стояло всё. Утром, когда она понесёт это письмо на почтамт, до смены останется целый час — она уже рассчитала и этот час, потому что рассчитывала всё: маршрут, время, очередь, окошко. Люди думают, что решиться — это самое трудное. Решиться было легко. Трудно было пройти по дорожке мимо чужих лодок так, чтобы никто не вспомнил потом, что шла.

Посчитано всё: до метра, до початка, до копейки. Прилагаю копию ведомости — там видно, как ткань гуляет мимо кассы. Прошу проверить и не пересылать вниз: внизу уже читали. Завтра скажу им всё.

ЧАСТЬ I. КОМОД

Глава 1. Заказ

Радио Марта включала раньше света. Свет в мастерской был честный, рабочий, а радио работало как соседка за стеной: говорит, говорит и ничего не требует взамен. Местная волна с утра сообщала, где в Приволжске нынче ямочный ремонт, когда откроют каток в городском парке и какой в четверг обещан мороз. От этих новостей у Марты, как всегда, поднималось настроение: хорошо, когда город чинят, хотя бы по радио.

Приволжск просыпался нехотя: сначала просыпались чайки над затоном, потом пекарня на углу Прядильного спуска, потом школа, и только к десяти город догонял собственное расписание. Марта работала с семи и первые часы считала лучшими: вещи ещё молчат вчерашним молчанием, а человек уже сегодняшний.

Мастерская занимала горницу бабушкиного дома на Старо-Прядильной, семь. После развода Марта вернулась в родной город со скарбом в трёх ящиках, а втянулась в дело с четвёртого: пустой дом требует мебели, мебель в этом городе — старая, а старой мебели нужен человек с руками. Верстак встал у окна, струбцины повисли по стене ровными рядами, как семейные фотографии, и дом перестал быть музеем чужой жизни.

Дочь, Аля, девятнадцать лет, училась в другом городе и звонила по вторникам. Про заказы спрашивала коротко, про кошку — подробно, про отца — никак. Марта ценила в дочери эту расстановку приоритетов и ни разу не попыталась её пересмотреть.

Кошка Гуашь занимала в мастерской должность старшего по сонным местам. Сейчас она лежала на сиденье венского стула — того самого, что стоял в ремонте, — и смотрела на хозяйку взглядом собственника, сдавшего вещь в аренду и изредка, для порядка, проверяющего, не сломали ли.

Стул был старый, но честный: гнутые клёпки спинки целы, а шканты под сиденьем рассохлись и гуляли, как плохие новости. Марта выбила старые шканты, вычистила гнёзда, посадила новые на клей и стянула всё струбцинами. Пока клей набирал силу, она взялась за сиденье: циклёвка сняла чёрный наносной лак, и под ним проступил орех — тёплый, с разводами, как вода после кисти.

Морилку на орех она не клала: цвет из бутылки не уважала. Завела тампон, капнула спиртового лака и пошла кругами — медленно, с ровным нажимом, пока дерево не начало отвечать блеском. Так сидишь, полируешь, и время, которое прошло по вещи, выходит наружу пятнами — сначала тёмными, потом тёплыми.

Заказов стояло на месяц вперёд: два кресла из парикмахерской на Депутатской, буфет от соседки со школьной улицы, очередь стульев. Стулья Марта любила больше прочей мебели: вещь небольшая, а честности в ней на целый шкаф. Обмануть стул нельзя — он либо стоит, либо нет.

Под верстаком дожидалась своего часа щётка-рявез, латунная: ею Марта снимала серую патину со старых кромок, и дерево после неё выглядело так, будто на секунду вспомнило молодость и перестало притворяться старым.

* * *

Егор Судаков приехал в одиннадцать — раньше назначенного, как приезжают люди, которым некомфортно ждать. Комод он вынес из машины вместе с водителем: молчаливый парень нёс молча, Судаков командовал молча, и с минуту в мастерской было слышно только радио, у которого как раз шла передача о добрых соседях.

Судакову было лет пятьдесят семь. Пальто он носил как человек, которому выдали чужую роль и он решил доигрывать уверенно: расправленные плечи, тень улыбки, рука, всё время поправляющая воротник. Руки у него были городские, чистые, а часы — старые, тяжёлые, с потёртым браслетом. Единственная вещь на нём, у которой имелось прошлое.

— Судаков, Егор Львович, — представился он. — Старым бытом торгую. Не музейным, не парадным — интерьером. Купил, освежил, продал. Так и живу.

— Реставрация здесь, — сказала Марта. — Освежение — по ту сторону окна.

Комод привёз он хороший, без пафоса: четыре ящика, ореховый шпон на берёзе, латунные ручки, все до одной. Марта провела ладонью по боковине, заглянула под крышку, толкнула ящик — ходил мягко, с устоявшимся скрипом, как ходят вещи, которые всю жизнь простояли на одном месте и не собирались переезжать.

— Простите, что тороплю, — Судаков глянул на часы и повернул их циферблатом внутрь. — Лак освежить, полироль подтянуть, царапины свести. Не перебирайте: только верхний слой. Пятница устроит?

— Пятница устроит, — сказала Марта.

— Я не на всякий случай повторяю, — он усмехнулся, но глаза при этом остались при своих. — Не перебирайте. Лак и всё.

Марта внутренне улыбнулась. Не перебирайте ей говорили по трём причинам: жалко денег, нет времени и есть что спрятать. Первых двух причин у тех, кто платит вперёд, она за двадцать лет работы не встречала ни разу.

Деньги Судаков выложил вперёд, на верстак, и накрыл купюры ладонью — жест с чужого берега, из игры, в которую тут никто не играл.

— Сколько с меня? — спросил он и сам же назвал цифру, выше всякой мартовской вилки. Марта торговаться не стала. Когда человек платит вперёд и с запасом, он покупает не работу. Он покупает отсутствие вопросов.

— За работу, — сказал Судаков и, услышав, как это вышло, добавил ровнее: — Пока за работу. В пятницу заеду сам.

— Я работаю с распиской, — сказала Марта. — А молчание входит в стоимость. Дороже стоит только шум.

Уезжал он быстро, как приезжал: водитель ждал с заведённым мотором, Судаков сел, не оглянувшись на мастерскую. Оглянулся только на дом — на секунду, дольше, чем стоило бы смотреть на дом, в котором оставляешь вещь. Марта проводила серую машину глазами, вернулась к комоду и постучала по боку костяшками — тем жестом, каким стучат по арбузу и по людям.

* * *

Лак она освежала честно. Тампон с шеллаком, тонкие слои, просушка, снова слой. К обеду ореховый шпон ожил: разводы вытянулись, латунь отдала ручки, царапины свелись до памяти о царапинах. Пока сушился второй слой, совесть Марты взяла небольшой перерыв.

Третий ящик ходил туго, с перекосом. Марта вынула его, проверила полозки — полозок на месте, шип цел, перекосился сам ящик: дно подсохло и осело. Она перетянула дно, посадила на свежий клей, и ящик пошёл как надо — со старым скрипом, зато ровно.

Комод она поставила на бок и простучала дно корпуса костяшками. Середина отвечала глухо, как и положено доске. У правого края доска отвечала гулко — так отвечает не дерево, а воздух под деревом.

Накладная панель держалась на двух шкантах, вверенных без капли клея: один уже отходил сам. Марта подняла панель — и увидела второе дно. Вставку. Подогнанную чисто: шпон в тон, кромки сошлифованы, рисунок дерева аккуратно продолжает соседний, и стык ищи с фонарём. Делал человек, который любил, чтобы тайна была качественной.

Внутри лежала пачка писем. Конверты были почтовые, но чистые: ни одной марки, ни одного штемпеля, ни одного адреса. Ни один конверт не был отправлен — все восемь. Листы в клетку, вырванные из школьной тетради по линейке, ровно, с запасом до следующей клетки: писавший торопился, но портил страницу редко.

На листах стояли даты — с июня по июль 1984 года. Обращение было одно и то же, подпись — тоже. Марта развернула первый лист.

Тома, здравствуй. Прядильный снаружи обтянули сеткой, но трубу не тронули: с крыши у бани видно, как он дымит по утрам. Баня у забора опять покосилась, отец говорит — поправим к зиме. Он это говорит каждый год, а зима приходит без спроса. Л.

Тополь во дворе вчера резали наполовину. Я стояла внизу и смотрела, и было стыдно, что дерево стригут, а я молчу. Я вообще молчу. Но, кажется, недолго осталось. Л.

Тома, ты спрашивала, страшно ли. Страшно не поэтому, а потому что они здесь все свои, а я, выходит, нет. Ладно. Баня у забора рухнула в ночь на четверг, никто не пострадал, кроме забора. Л.

По письмам выстраивалось лето 1984-го: дожди в июне, сенокос в чужом палисаднике, кто-то уходил в армию, кто-то вернулся. Л. писала из двора, где стоял прядильный корпус, а Тома, судя по всему, жила уже не здесь — иначе зачем описывать той, кто и так всё видит из окна.

Марта сидела на табурете и читала, а комод сох рядом, и лак держался на нём лучше, чем слова на клетчатой бумаге. Письма эти были не для почты: они были для ящика. Писавший знал, что отправить не сможет, и писал всё равно — так пишут не человеку, а правде.

Последнее письмо было короче всех. Две строки, клетка съехала, почерк спотыкается.

Тома, завтра скажу им всё. Если не скажу — считай, я струсила, и тогда пиши мне сама. Л.

И всё. Восьмым письмом переписка обрывалась. Ни ответов, ни продолжения, ни пояснения, что за всё ей предстояло сказать и кому именно. Июль 1984-го — и дальше тишина длиной в сорок лет.

Марта сложила листы, как лежали, и поймала себя на том, что двор из писем смотрит на неё знакомыми глазами. Прядильный корпус она знала: комбинат в двух кварталах, сейчас его под склады сдала уже половина. Баня у забора — такая баня стояла в этом самом дворе, пока её не снесли. И тополь был здешний: огромный, пуховый, дурацкий, за забором бабушкиного дома. Письма были написаны за три года до рождения Марты — во дворе, где ей предстояло вырасти.

Клеить панель обратно она не стала: на клею та не стояла, значит, так было задумано. Вернула вставку на два шканта, накрыла панелью, прижала грузом — откроется, когда владелец решит говорить правду. Письма оставила на месте. Тайна, даже чужая, до последнего владельца имеет право сохранять форму.

* * *

Вечером Марта вымыла тампон, вытерла верстак и погасила радио на середине прогноза погоды. Комод стоял у стены — спокойный, отполированный, готовый к пятнице. Телефон зазвонил, когда она выключала верхний свет.

— Марта? Судаков. Как там мой комод?

— Лак ложится. К пятнице всё будет.

— Так. Хорошо, — голос у него шёл на ходу, у стены, на ветру. — Слушайте. Ничего... там не нашли? Ну и хорошо. Приеду в пятницу.

— Что нашли? — успела спросить Марта.

Трубку положили первым.

Она стояла в тёмной мастерской и слушала гудки. Спросил про находку раньше, чем она успела ответить хоть слово. Не надеялся узнать — знал, о чём спрашивать. Значит, комод ехал к ней не освежаться.

Марта посмотрела на комод. Хороший, честный комод с двойным дном — единственная вещь в мастерской, у которой в пятницу планировалось прошлое. За ним приедет человек, который дважды попросил не перебирать. И очень хорошо, что он не знает, как аккуратно

Марта умеет не перебирать: до последней буквы, до последней даты, до последней невысказанной строки.

Глава 2. Только комод

Судаков приехал раньше срока. В пятницу, без десяти девять, калитка скрипнула, и он прошёл во двор, не позвонив в дверь, — так, будто был здесь не в первый раз. Марта видела его в окно: он постоял у крыльца, разглядывая дом, потом перевёл взгляд на баню у забора и задержался там на лишнюю секунду. Обычный взгляд. Так смотрят, когда ищут номер дома.

Комод стоял в середине мастерской, чистый и довольный. Марта вела его всю неделю по кругу, как положено: циклёвка сняла чёрный старый лак, морилка выровняла пятна, свежий лёг в два слоя и высох до ровного тёплого блеска. Ореховый шпон снова выглядел на свои семьдесят — не старше и не моложе. Реставратор не молодит вещь. Он возвращает вещи её собственный возраст.

— Рано вы, — сказала Марта, открывая дверь.

— Транспорт хороший попался. — Судаков вошёл боком, портфелем вперёд, и остановился, не дойдя до верстака. Пиджак был тот же, что в понедельник. Портфель он держал перед собой двумя руками — не как документы, а как щит.

— Готов? — спросил он.

— Готова. Смотрите: циклёвка, морилка, два слоя лака. Как новенький, только честный.

Судаков глянул на комод меньше секунды. Провёл ладонью по крышке — не так, как трогают мебель, а так, как проверяют, выключен ли утюг.

— Сколько? — спросил он.

Марта назвала цифру. Ту, о которой договорились в понедельник.

— Возьмёте вдвое. — Он выложил на верстак пачку денег, перетянутую резинкой. Наличные, как в кино, только кино обычно делают аккуратнее. — За срочность.

— За срочность у меня надбавка десять процентов, — сказала Марта. — Так записано в заказе.

— Возьмите вдвое. — Голос у него был тихий и всё время чуть в сторону, будто в мастерской сидел ещё кто-то, кому не положено слушать. — Комод мне. Ящики — ваши. Что в них нашлось и что не нашлось — ваша забота. Договорились?

В понедельник он принёс этот комод со словами «освежить лак» — так и сказал, двумя словами, глядя мимо. В тот же день, перевернув комод на бок, Марта нашла двойное дно, а под ним пачку конвертов. Позвонить она не успела — вечером позвонил он сам: «Ничего не нашли? Приеду в пятницу». Голос ровный, вежливый. Слово «ничего» он произнёс так, как произносят слово, которое репетировали.

Теперь он стоял посреди чужой мастерской и ждал, куда она денет двойную цену. Деньги лежали на верстаке спокойно. Спокойнее своего хозяина.

— В ящиках пыль, — сказала Марта.

— Пыль тоже ваша. — Судаков наконец посмотрел ей в глаза. Глаза светлые, ресницы редкие, взгляд голый, как стена без грунта. — Мне нужен только комод.

Пока Судаков откатывал комод к машине — крыльцо узкое, и вещь он вёз сам, никому не доверяя, — Марта сделала то, чего не делала ни разу за двадцать лет. Открыла шкаф с образцами морилок. Банки стояли ровными рядами, подписанные её почерком: дуб, орех, тик, венге. Она отвела банку с орехом, поставила за неё конверты и придвинула банку обратно. Ряд выровнялся. Шкаф ничего не заметил.

У Марты было правило, ровное, как её верстак: всё, что найдено в вещи, принадлежит хозяину вещи. Она находила в комодах фотографии, монеты под ножками, обручальные кольца, закатившиеся в щели, — и отдавала, не читая, когда можно было не читать. Правило служило двадцать лет без ремонта. Сегодня Марта сломала его в первый раз — и с любопыт-

ством отметила, что ломается оно до обидного легко. Даже весело. Как в детстве, когда берёшь из вазы конфету раньше, чем разрешили.

Судаков вернулся за упаковкой.

— Газеты, в которых комод привозили, тоже заберу, — сказал он. — И плёнку. И картон.

— Газеты старые, — сказала Марта. — Выбросить?

— Заберу. — Он пересчитал стопку на ощупь и сунул в портфель. Убирал следы так усердно, что этим только обводил их контур.

Машина уехала в половине десятого. Мотор стих где-то за прядильным корпусом. Двор был на месте. Верстак был на месте. Комода не было — и вместе с комодом ушла ровная неделя, в которой у каждой вещи было своё место.

Марта пошла по мастерской, как ходят после гостя: чуть задерживаясь у каждого предмета, здороваясь. Инструменты на стене висели по своим контурам. Тиски были закрыты. Пыль лежала там, где лежала всегда.

Ничего не сдвинуто — почти. На подоконнике цикля лежала на сантиметр левее, чем Марта её клала. Табурет у двери в кладовку стоял на пол-ладони не вплотную. А дверь шкафа с морилками — та самая, которую Марта всегда оставляет приоткрытой на ширину пальца, — была закрыта до щелчка.

Она стояла перед шкафом и собирала утро обратно, кадр за кадром. Судаков вошёл. Поставил портфель. Взглянул на комод — на секунду. Упаковывал вещь во дворе. Вернулся за газетами. Всё это время шкаф стоял за её спиной, в трёх шагах, и она болтала с ним о цифрах.

И тогда стало ясно, что он делал руками. Ничего. Руками — ничего. Он мерил мастерскую глазами: от окна во двор до задней двери, от двери до шкафа, от шкафа до неё. Окно. Дверь. Шкаф. Она. Так примеряются не к мебели. Так запоминают помещение.

Тревога вошла аккуратно, как шпон в паз, — без зазора. Марта погнала её делом: собрала тампоны, протёрла верстак, проверила стул, что стоял в ремонте, — и вернулась к пазу: тревога сидела плотно. Хорошо сидела. Работа уровня заказчика, который платит вдвое.

* * *

В полночь Марта села у лампы. Гуашь вышла из тёмного угла, как выходила всегда в это время, устроилась на стопке старых журналов и стала смотреть, как человек читает письма сорокалетней давности. Кошка в почерках не разбиралась, зато в паузах понимала всё.

Конверты были одинаковые: плотная обёрточная бумага, ни марок, ни адресов, ни надписей. Внутри — тетрадные листы в клетку, исписанные ровным наклонным почерком. Подпись одна и та же: «Л.».

На каждом листе в правом углу стояла дата, как положено. Июнь. Июль. Восемь писем за один сезон: написаны подряд, неделя за неделей, все — в тысяча девятьсот восемьдесят четвёртом.

Здравствуй, Тома. Пишу в твой старый адрес, хотя новый твой знаю. Так проще: в старом ты ещё смеёшься, а в новом не знаю, какая ты. Работа идёт, план дают, план не держим. Начальство сменилось, а воздух в цеху тот же.

Сегодня опять недостача по второму цеху. Ткань гуляет мимо кассы, а спросить некому. Кто спросит — тот и виноват. Я всё считаю, Тома, и записываю в тетрадку.

Марта читала подряд, письмо за письмом, как снимают старый лак, слой за слоем, — и под слоями проступало то, что писалось не для чужих глаз. Про цех и ночные смены. Про накладные, которые в конторе переучитывают дважды. Про человека без имени: во всех восьми письмах он назывался одинаково, как погодное явление. Большой человек.

Имени тебе не напишу, ты понимаешь. Большой человек. Все всё видят и молчат, а я, дура, считаю. Большой человек сказал: сама всё поймёшь и молчать будешь. А я не молчаливая, Тома. Я упрямая.

В третьем письме, между плановой проверкой и жалобой на зубы, стоял абзац, от которого Марта выпрямилась на стуле. Гуашь повела ушами.

Адрес запиши, на всякий случай: Приволжск, Старо-Прядильная, семь. Двор за прядильным корпусом, баня у забора. Если что — я там. Постучи в окно.

Марта прочитала адрес трижды. Он не менялся: Приволжск, Старо-Прядильная, семь. Её адрес. Бабушкин дом, в котором теперь мастерская. Двор за прядильным корпусом — тот самый, потому что корпус стоит к кварталу тылом, и двор этот так и зовут: за корпусом. Баня у забора — баня, под крыльцом которой Марта в детстве прятала осколки цветного стекла. Щель она знала руками, с закрытыми глазами.

Детское место. Надёжное. И у него же, судя по письму, было второе имя — адрес, который Лиля оставила сестре на всякий случай. На какой случай — письмо не говорило. Больше адрес нигде не всплывал: письма шли дальше, а двор больше не упоминался.

Дальше письма шли вниз, как температура в конце сезона. Про цех — короче. Про большой человек — длиннее. Почерк с июня держался ровно, а к июлю заломился наискосок, как шпон, который приклеили в спешке.

Тома, завтра скажу им всё. Устала считать чужое. Пусть смотрят в глаза, когда я говорю. А если не напишу больше — не обижайся. Я всё равно тебя нашла бы.

Это было последнее. Двадцатое июля. Ниже подписи — полстраницы чистых линеек: рука собиралась вернуться и не вернулась.

Марта сложила письма в стопку — и тут же разложила снова, по датам, потому что руки не поверили глазам. Восемь конвертов. Ни одной марки. Ни одного адреса. На почту их не сдавали — иначе марки были бы. Написаны сестре. Запрятаны в двойное дно чужого комода. И ни одно не ушло.

Кому пишет человек, если не почте? И что за случай, на который оставляют адрес?

* * *

В час ночи Марта накинула свитер и вышла во двор. Лампу на верстаке оставила гореть — нарочно: ей хотелось увидеть дом со стороны, с жёлтым окном, как его видели из двора сорок лет назад. Как его видел сегодня утром Судаков, когда постоял у крыльца и переводил взгляд на баню.

Ночь была летняя и простая. Прядильный корпус стоял за забором тёмной стеной, без единого горящего окна. Баня отдавала нагретой за день доской. Марта встала у бани, у самой щели под крыльцом, и посмотрела на свой дом.

Дом смотрел на неё одним жёлтым окном и тремя тёмными. Издали он был чей-то. Не её. Чужой дом, в котором горит свет и кто-то, судя по свету, читает старые письма.

Вопрос «кого боится Судаков» уехал в пятницу вместе с комодом — и пусть едет. На его место встал другой, и этот был хуже, потому что стоял в её дворе. Кому Лиля писала сорок лет назад, если ни одно письмо не ушло? И почему на всякий случай — этот адрес?

Гуашь вышла следом, села на тёплую ступеньку и тоже посмотрела на дом. Марта положила ладонь на доску бани — доска остывала медленно, так же медленно, как этот вечер. Сорок лет остывала, если считать честно.

Глава 3. Река

Стол доводили до срока, и на субботу оставался один проход шкуркой и последний слой лака. Марта работала с раннего утра, пока в старом доме держалась прохлада: после полудня мастерская нагревалась, и лак на жаре вздувался пузырями, которых потом не выведешь. Ореховая крышка светлела под рукой ровно и послушно. Стол был старше её, и Марта относилась к нему как к старшему — без фамильярности.

Кисти сохли на газете. Гуашь спала на подоконнике, положив подбородок на банку с белилами, — кошка выбирала для сна места, где её никто не искал. Телефон лежал тут же, между банками, и в девять часов зазвонил.

У стены, где стоял комод, остался ровный прямоугольник без пыли. Гуашь обходила это место по дуге — кошки не любят чужих пустот.

— Марта? — Голос тёти Дуси был слишком ровный, как у человека, который репетировал фразу у зеркала. — Не гони кисти, послушай. Егора-то твоего нашли. У старой пристани. Утонул.

Шкурка остановилась на середине прохода. За окном двор жил своим субботним утром: хлопнула дверь, проехала детская коляска, у соседа за забором завёлся мотор и заглох — старик заводил без нажима, по своей погоде.

— Когда? — спросила Марта.

— Да кто ж знает. Говорят, в четверг, к вечеру. Рыбаки утром пошли, подошли, тронули — а он уже не дышал. Скорую вызывали, только поздно было. Полиция приехала, акт составили. Говорят, выпил было. Он и раньше у той пристани пропадал.

— Ладно, Дуся. Спасибо, что позвонила.

— Я сразу тебе, с чего встала. — Дарья Фоминична вздохнула так, что в её кухне зацепилось что-то жестяное. — Порядочный был человек, аккуратный. Комоды его помню. А река, милая, документов не читает.

Марта положила трубку. Гуашь открыла один глаз, убедилась, что разговор её не касается, и закрыла.

Проход шкуркой рука закончила сама, без участия хозяйки. Светлая полоса на крышке осталась незакрытой: последняя треть, где лак ждать не станет. Марта посмотрела на эту полосу, потом во двор, где над забором качалась ветка старой рябины. Обычная суббота. Так ей сказали. Так она почти поверила.

* * *

К вечеру субботы Приволжск знал про Судакова всё, чего знать не мог. В первой версии он рыбачил с лодки и перегнулся за садком. Во второй шёл домой короткой дорогой, мимо старой пристани. В третьей просто стоял на краю и смотрел на воду, а дальше река сделала сама. Версии расходились в деталях и сходились в главном: выпил было. Погиб, говорили одни. Сам, говорили другие. Река всех устраивала как ответ: у реки нет интересов, она не спрашивает фамилию.

Слух шёл по дворам, как вода по желобу, — не спеша и в обход. На скамейке у второго подъезда обсуждали полицию и то, что акт — это ещё не всё, за актом будет разговор. У пекарни поминали, что жил один, а вещей на три квартиры, и всё чужое. К ночи город сошёлся на простом: жил один, был у воды, не дышал. Точку ставила река — река всегда ставит точку.

Марта эти разговоры пропускала мимо — так пропускаешь чужой ремонт за стеной: слышишь звук, слов не разбираешь. Ей нужна была не версия. Ей нужна была та пятница.

В прошлую пятницу он приехал за комодом без десяти девять. Трезвый — во второй раз за два месяца; она отметила это ещё с порога, по голосу. Заплатил до копейки, чек сложил

вдвое и убрал во внутренний карман, похлопав по карману ладонью, — так убеждаются, что ключ на месте.

Он был осторожный — вот что не выходило из головы. Комод двигал по траве, а не волоком по асфальту, подкладывал под рёбра полотенце, которое она ему подала. Перед погрузкой выдвинул все четыре ящика и задвинул обратно без стука, будто извинялся перед мебелью. Через двор шёл, глядя под ноги: двор старый, в нём каждая вторая плита живёт своей жизнью, но он шёл так, будто знал эту жизнь поимённо.

Пьяный так мебель не тащит. Пьяный так вообще ничего не делает.

Марта стояла посреди мастерской с тряпкой в руке и с удивлением слушала саму себя. Сомнение было странное — не в участковом, не в версии, не в акте. В себе. Трезвость она опознала по рукам, осторожность тоже по рукам. А руки были её ремеслом, её тихой гордостью, и всю жизнь ей казалось, что руки она читает без ошибки. В субботу эта уверенность стояла, как стол на подпиленной ножке.

Гуашь соскользнула с подоконника, потянулась, зацепив когтями газету, и ушла в глубину мастерской, за верстак, туда, куда не доставал свет. Кошки уходят, когда в комнате начинают думать слишком громко.

* * *

Похороны были в воскресенье, в одиннадцать. Марта пошла, потому что двор шёл всем двором, а её двор, старый, умел два дела: встречать младенцев и провожать стариков. Судаков был ни тем ни другим, и всё равно очередь у ворот городского кладбища вышла длинная, тихая, в летних рубашках и тёмных платках.

Венки несли по два в руки. Ленты на них были пластиковые, и по лентам шли отпечатанные бабочки — одинаковые, глянцевые, будто сошедшие с одной страницы. Бабочки были самым оживлённым, что было в этой процессии.

Людей пришло больше, чем Марта ждала. Часть — из тех, кому он скупал вещи; в очереди их было видно сразу: держались в стороне от родни и на венки смотрели оценивающе, как на чужую смету.

О Судакове говорили за спиной спокойно, без злобы — так говорят о доме, который продают.

— Торопливый был, — сказал один голос. — Всю жизнь торопился, всё ему сразу было надо. Вот и…

— Скупал всё подряд, — сказал второй. — Люди несли, что попало, а он брал. Комоды, горки, стулья гнутые. Что ни принеси — брал, и за всё платил. Жадный был до вещей. До чужих.

У могилы стало тесно и тихо. Говорили коротко. Марта стояла в сторонке, у сосны, и смотрела, как над венками ходит жара и уходит вниз, к земле. Потом очередь начала расходиться — не сразу, по одному, как расходятся после долгого стояния.

Марта отошла за сосну, пережидая поток. За спиной, шагах в десяти, двое мужчин разговаривали вполголоса. Слова долетали не все — ветер разбирал их первым.

…сказал же: продать надо было сразу, а он свои принципы…

Голос был спокойный, низкий, без злости — таким голосом просят передать соль. Марта обернулась поздно: двое уже шли к калитке, спиной к ней. Один в светлой рубашке, второй в пиджаке поверх футболки. Кому из двоих принадлежал голос — не понять. И продать что — дом, вещи, мебель — тоже. Слово про принципы она унесла с кладбища и положила в памяти рядом с трезвыми руками пятницы.

От ограды к ней подошла женщина — тёмный жакет, прямая юбка, ни одной лишней вещи в руках. Лет тридцати четырёх. Она была из женщин, у которых и горе сидит по фигуре: подтянуто, подогнано, ни складки.

— Марта Ремизова? — спросила она. — Елена Судакова. Племянница.

Она смотрела на Марту на секунду дольше, чем смотрят на чужого человека на кладбище, — так прикладывают ключ к замку, ещё не решая, поворачивать ли.

— Вы делали дяде работу. Комод.

— Да. В пятницу он его забрал, — сказала Марта.

— Значит, успел. — Елена кивнула так, будто закрыла строку в длинном списке. — Я в понедельник буду заниматься его делами. Бумагами. Скажите, у дяди пропала папка с бумагами, не находили? Он в последнее время все ящики перетряхивал.

Вопрос встал между ними твёрдо, как подставка под пятку. Марта поняла: вопрос этот готовили заранее, и ответ на него у кого-то уже существует.

— Из бумаг у меня только чек об оплате, — сказала Марта. — Дальше — стружка и морилка.

Это была правда. Правда с удержкой — как дверь на щеколде: закрыто, но не на замок.

— Он вас хвалил, — сказала Елена вдруг, ровно, как сообщают температуру. — Из его уст это было редкость. — Она достала визитку — не из сумки, из наружного кармана жакета, заранее поглаженного.

Елена Судакова. Юрист. Наследственные дела. Оценка имущества. Сопровождение.

— Если что-нибудь найдётся — бумаги, фотографии, что угодно, — позвоните. Дядя в последнее время был неровный. Я хочу закрыть его дела аккуратно.

Она ушла к машине не оборачиваясь — походкой человека, который никогда не опаздывает и потому не торопится. Марта прочла визитку уже у ворот. Картон плотный, тиснение глубокое. Слово «юрист» стояло на ней спокойно, как вывеска на давно открытой конторе.

* * *

Вечером Марта не стала зажигать верхний свет. Она вымыла руки, застелила рабочий стол чистым полотенцем — привычка реставратора: чужие тайны раскладывать так же аккуратно, как шпон. Из шкафа достала пачку в вощёной бумаге — письма, которые остались у неё, когда комод уехал, — и положила под лампу.

Морилки стояли на полке по росту, от светлой к тёмной. Письма легли рядом, на полотенце, как пациент на кушетку. Марта раскладывала их по датам, от июня к июлю, теперь уже всерьёз — так раскладывают по номерам снятую с рамы створку. Конверты без единой марки: письма не ходили почтой — они прятались, как прятались. Подпись на всех одна — Л.

Адрес из третьего письма она узнала бы с закрытыми глазами: Старо-Прядильная, 7. Её двор. Её дом — только написанный чужой рукой, крупно, с нажимом: так пишут не спеша и в сердцах.

Строчка из июльского письма — завтра скажу им всё — все эти две недели стояла в голове занозой под ногтем. Сегодня она легла на полотенце среди остальных и стала просто строчкой. Это оказалось хуже: строчки складывались в очередь, а очередь — в чей-то счёт.

Выбросить — эта мысль пришла первой и ушла тоже первой: она реставратор, её ремесло — не выбрасывать. Отдать — Елене, участковому, кому положено, — эта мысль подержалась дольше. За неё говорило всё: чужие бумаги, чужая тайна, человек, который больше ничего не спросит. Против — одно: она видела, как аккуратно в этом городе закрывают дела. Акт составлен, река взяла всё на себя, и папку теперь можно искать со спокойной душой.

Марта связала пачку бечёвкой тем же узлом, каким в мастерской вяжут створки на просушку. Пачка была лёгкая — бумага да конверты. И тяжёлая — по другому весу, который на весы не поставить. Держа её на ладони, Марта решала не то, что с ней делать, а то, кем она будет рядом с ней: свидетель, почтальон или участник.

Пока не поймёт, что это, — не выбрасывать. И не отдавать.

Она вернула пачку в шкаф, к морилкам, и задвинула дверцу. Гуашь вышла из тёмного угла, села у полки и посмотрела на шкаф так, будто тоже вела учёт. Марта погасила лампу и

ещё немного постояла в темноте, слушая двор: где-то поливали, у кого-то спорили о выгоде, вода в жестяном желобе считала капли до самой ночи.

У кого письма — у того и счёт.

Глава 4. Племянница

Во вторник позвонила Аля. По вторникам — значит, всё в мире шло своим порядком, и Марта впервые за три дня вздохнула на этом основании полной грудью. Дочь говорила из своей другой жизни — шумной, общежитской, — и голос у неё был бодрый, как очередь в столовой. Про заказы спросила коротко: как верстак, как спина. Про кошку — подробно: привилась ли Гуашь к новому дому, не ходит ли по полкам, держит ли хвост трубой при чужих. Про отца — никак, как всегда.

— Кошка держится достойно, — сказала Марта. — Хвост трубой. По полкам не ходит, потому что полки её не интересуют, а интересует шкаф с морилками.

— А почему её интересует шкаф с морилками?

— Оттуда теплее всего дует.

Это была правда. Оттуда дуло — и что-то ещё, о чём Марта дочери не сказала. Про письма она не сказала вообще ничего: не из недоверия, а из бережности. У Али был первый курс, первая осень, первая в жизни собственная кухня на шестерых — у неё не было ни одной свободной руки, чтобы нести чужой сорокалетний счёт.

После звонка Марта достала из-под верстака ящик со стамесками, разложила их по ширине, как ноты, и поймала себя на том, что работает слишком тихо. В старом доме всё слушало. Печь щёлкнула стыком, стекло в окне отдало улице своё, и двор за окном кивнул в ответ веткой рябины.

* * *

Елена Судакова приехала на другой день к обеду. Калитку открыла сама — ключей у неё, разумеется, не было, но держалась она так, будто ключи просто забыли выдать. Марта встретила её во дворе. На Елене был тот же тёмный жакет, поверх — серый шерстяной кардиган, и кардиган был явно не её размера: большой, мягкий, чужой. Так носят вещи, которые сняли с чужого плеча и не решились отдать.

— Я по пути, — сказала Елена. Так говорят люди, у которых по пути ничего не бывает.

Марта провела её в мастерскую. Елена вошла, оглядела помещение и не сделала ни одного шага к верстаку. Судаков, приходя, первым делом трогал руками вещи — даже когда собирался не покупать. Елена руками не трогала ничего. Она смотрела.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.